

БРУНО ШУЛЬЦ

Лавки колониальных товаров



ПАЛЬМИРА
Т8 ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 821.161.1
ББК 84(0)
Ш95



*Перевод с польского Елены Третьяковой
под редакцией Бориса Останина*

Шульц Б.

Ш95 Лавки колониальных товаров / Бруно Шульц. — М. ; СПб. : «Т8 Издательские Технологии» / «Пальмира», 2020. — 104 с. — (Серия «Пальмира — классика»).

ISBN 978-5-517-02648-4

Сборник «Лавки колониальных товаров» — первая книга Бруно Шульца, — является шедевром мировой литературы. Дебют писателя сразу же становится литературной сенсацией. Книга состоит из глав-рассказов и представляет собой единое произведение с общим сюжетом и персонажами. Но это отнюдь не повествование о конкретном времени и месте. Рассказы прочитываются как развернутая метафора, некий эсхатологический апокриф о судьбе человечества.

УДК 821.161.1
ББК 84(0)

© Третьякова Е., перевод на русский
язык, 2020

© Оформление.

АО «Т8 Издательские Технологии», 2020

ISBN 978-5-517-02648-4

АВГУСТ

1

В июле отец уезжал на курорт, покидая нас с матерью и старшим братом на произвол белых от зноя, ошеломляющих летних дней. Одурманенные светом, мы перелистывали огромную книгу каникул, все листы которой горели от блеска и заканчивались сладкой до тошноты золотой мякотью груш.

Адель возвращалась сияющим днем, словно Помона из пламени раскаленного света, и высыпала из корзины яркую красоту солнца — блестящие, полные влаги под прозрачной кожицей черешни, таинственные черные вишни, ароматом своим превосходящие вкус, абрикосы, в золотой мякоти которых таилась сердцевина нескончаемого полдня. Среди чистой поэзии фруктов выпирали налитые мощью и сытностью куски мяса с клавиатурой телячьих ребер, водоросли овощей, похожие на убитых головоногих и медуз, — бесформенное, еще лишенное вкуса сырье, растительные и минеральные компоненты обода с диким полевым запахом.

Темную квартиру на втором этаже дома, выходящего на рыночную площадь, ежедневно пересекало все огромное лето: тишина дрожащих слоев воздуха, сияющие на полу и грезящие свои жаркие сны квадраты; мелодия шарманки, возникающая из самой глубокой золотой жилы дня; два-три такта припева, снова и снова повторяемые где-то на фортепиано, тающие на белых, залитых

солнцем тротуарах, исчезающие в огне бесконечного полдня. После уборки Адель затемняла комнаты, опустив полотняные шторы. И тогда краски звучали на октаву ниже, как бы погружаясь в мглу морской глубины, смутно отсвечивающей в зеркалах, а весь зной дня дышал на шторы, слегка колеблющиеся от грез полуденного часа.

По субботам после полудня мы с матерью выходили на прогулку. Из полумрака прихожей мы мгновенно погружались в солнечную купель дня. Прохожие бродили в золоте, жмуря от света глаза, словно залепленные медом, обнажая приподнятой верхней губой зубы и десны. Все они носили одинаковую гримасу зноя среди золота дня, как будто солнце подарило своим посвященным одну и ту же маску — золотую личину солнечного братства; и все шедшие по улице, старики и молодежь, дети и женщины, приветствовали друг друга, встречаясь и расходясь, маской, разукрашенной сверкающей красотой солнца, оскалившейся вакхической гримасой — варварской маской языческого культа.

Рынок был пуст, желт от зноя, выметен, как библейская пустыня, горячими ветрами. Колючие акации, выросшие в пустоте желтой площади, кипели над ней светлой листвой, филигранными букетами изящной зелени, словно деревья на старых гобеленах. Казалось, это они вызывают ветер, театрально вздымая кроны, чтобы в патетических изгибах продемонстрировать изысканность лиственных вееров с серебряной изнанкой, напоминающей мех благородных лис. Старые дома, отполированные многолетними ветрами, окрашивались оттенками огромного дня, эхом, отблесками красок, рассыпанных в его безмятежных глубинах. Наверное, целые поколения летних дней (как терпеливые штукатурки, очищающие фасады от плесени) снимали обманчивый налет, извлекая самые выразительные, самые истинные облики домов, лица судьбы и жизни, формировавшие их изнутри. Сейчас окна, ослепленные блеском пустой площади, дремали; бал-

коны исповедовали небу свою пустоту; из открытых дверей тянуло прохладой и вином.

Несколько оборванцев, уцелевших в углу рынка от огненной метлы солнца, стояли возле стены, испытывая ее непрерывными бросками монет и пуговиц; по гороскопу этих медных кружков можно было прочесть сокровенную тайну стены, испещренной иероглифами линий и трещин. Рынок был почти пуст. Казалось, к дверям лавки с бочками виноторговца подойдет сейчас в тени колеблющихся акаций ведомый за узду ослик самаритянина и два слуги снимут с раскаленного седла больного мужа, чтобы осторожно внести его по холодным ступеням на благоухающий субботой этаж.

Так шли мы с матерью по обеим солнечным сторонам площади, ведя свои изломанные тени по всем домам, как по клавишам. Квадраты мостовой неторопливо отступали под нашими вялыми, расслабленными шагами; то бледно-розовые, как человеческая кожа, то золотисто-лазурные; все — ровные, теплые, бархатные, словно солнечные лица, затоптанные шагами до неузнаваемости, до блаженного небытия.

Наконец на углу Стрыйской мы вошли в тень аптеки. Большой шар с малиновым сиропом в просторной витрине символизировал прохладу бальзамов, способных исцелить любую болезнь. Еще два-три дома — и улица не поддерживала городских декораций; так возвращающийся в родную деревню крестьянин снимает по дороге городской костюм, превращаясь постепенно, по мере приближения к деревне, в деревенского оборванца.

Дома предместья по окна тонули в путаном буйном цветении палисадников. Забытые бесконечным днем, обильно и тихо разрастались всевозможные цветы, травы и сорняки, довольные паузой, которую могли провести за пределами времени, на рубежах нескончаемого полдня. Огромный подсолнух, возвышающийся на могучем стебле и больной слоновой болезнью, доживал в желтом

трауре последние тоскливые дни своей жизни, сгибаясь под тяжестью чудовищной головы. А наивные пригородные колокольчики и непривередливые ситцевые цветочки беспомощно стояли в своих накрахмаленных бело-розовых рубашечках, не понимая великой трагедии подсолнуха.

2

Густая чаща трав, сорняков и чертополоха бушует в огне полдня. Сад дремлет и звенит роем мух. Золотое жнивье стрекочет на солнце, как рыжая саранча; в густом дожде огня трещат сверчки; стручки с семенами лопаются и прыгают, словно кузнечики.

А ближе к забору шуба трав вздымается горбом-косогором, как будто сад перевернулся во сне навзничь и вдыхает своей крепкой грудью тишину земли. На этой груди неряшливая бабья буйность августа разрослась в глухих провалах огромными лопухами, распоясалась космами лиственных толщ, буйными языками мясистой зелени. Там идолоподобные развернутые лопухи таращатся, как широко рассевшиеся толстые бабы, утонувшие в своих юбках; там сад распродает по дешевке крупу дикой сирени, густую, отдающую мылом кашу подорожника, дику сивуху мяты и прочее барахло августа. А по другую сторону забора, за дебрями лета, где бездумно разрослись глупые сорняки, была мусорная куча, густо заросшая чертополохом. Никто не знал, что именно здесь справляет август этого лета свою языческую оргию. На мусорной куче стояла прислоненная к забору и скрытая дикой сиренью кровать девушки Тлуи. Дурочки Тлуи, как все ее называли. Среди мусора и отбросов — битых горшков, старой обуви и щебня возвышалась зеленого цвета кровать, подпертая взамен отломленной ножки парой потемневших кирпичей.

Воздух над свалкой, одичавший от зноя, пронизываемый молниями блестящих конских мух, взбесившихся от солнца, стрекотал невидимыми трещотками, доводил до безумия.

Посреди желтой постели прикорнула укрытая лохмотьями Тлуя. На ее крупной голове топорщится ежик черных волос. Лицо подвижно, словно меха гармони; скорбная гримаса ежеминутно собирает его в тысячи складок, а изумление вновь растягивает, разглаживает их, обнажает щелки крохотных глаз и влажные десны с желтыми зубами под мясистой губой. Проходят часы, исполненные зноя и скуки, а Тлуя по-прежнему что-то тихо бормочет, дремлет, ворчит, стонет. В минуты неподвижности мухи облепляют ее густым роем. И вдруг вся куча грязного тряпья приходит в движение, будто там зашевелились мыши. Разбуженные мухи вздымаются огромным звенящим роем, бешено гудят, сверкают, мелькают. Лохмотья соскальзывают на землю и разбегаются во все стороны, а из-под них медленно появляется, вышелушивается сердцевина мусорной кучи — полуобнаженная смуглая дурочка. Она медленно поднимается, похожая на своих коротких детских ножках на языческого божка, и вдруг из ее набухшего волной злости горла, из побагровевшего от гнева лица, на котором варварскими рисунками расцветают узоры вздувшихся жил, вырывается звериный крик, хриплый вопль, исходящий из всех бронхов этой полужвериней, полубожественной груди. Кричит сожженный солнцем чертополох, лопухи взбухают бесстыдным зеленым мясом, сорняки распускают блестящие ядовитые слюни, а охрипшая от крика дурочка судорожно и яростно бьет низом живота о ствол дикой сирени, которая тихо скрипит под настойчивостью разнузданной похоти, заклинаямой всем этим нищенским хором к вырожденческой, языческой плодovitости.

Мать Тлуи — поломойка. Это маленькая, желтая, как шафран, женщина до шафранного блеска отмывает со-

сновые столы, лавки и двери бедняков. Однажды Адель привела меня в дом старой Марыськи. Ранним утром мы вошли в крохотную, выбеленную в голубой цвет комнатку с утрамбованным глиняным полом, на котором лежало ярко-желтое солнце. Тишину нарушало пронзительное лязганье деревянных ходиков. На соломе, брошенной на сундук, лежала глупая Марыська, бледная, как полотно, и тихая, как варежка, из которой вынули ладонь. Воспользовавшись ее сном, тишина, желтая, яркая, злая, болтала, бранилась, громко и нагло вела свой безумный монолог. Время Марыськи, замкнутое в ее душе, покинуло ее устрашающим настоящим и двинулось само по себе, шумное, гудящее, адское, возрастающее в ослепительном молчании утра под стук часов-мельницы, рассыпающей злую муку, летучую муку, жалкую муку безумных.

3

В одном из домиков, утопающем в буйной зелени палисадника за коричневым забором, жила тетя Агата. Посещая ее, мы проходили мимо торчащих на палках разноцветных стеклянных шаров — розовых, зеленых, фиолетовых — с заколдованными в них блестящими светлыми мирами, которые напоминали идеальные и счастливые картины, замкнутые в недостижимом совершенстве мыльных пузырей.

В полутемной прихожей, где висели старые, изъеденные плесенью и ослепшие от времени олеографии, нас встречал знакомый запах. В этом доверчивом старом запахе, в его на удивление простой смеси содержалась вся жизнь этой семьи, особенности расы, свойство крови, тайна судьбы, неуловимо сокрытой в повседневном течении их собственного, особого времени. Древняя мудрая дверь, темные вздохи которой впускали и выпускали этих людей, молчаливая свидетельница прихода и ухода матери, дочерей, сыновей, отворилась бесшумно, словно двер-